ПИСАТЕЛИ
ЧЕХОВСКОЙ
ПОРЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Лазаревский, Борис Александрович — беллетрист. Родился в 1871 г. Окончив юридический факультет Киевского университета, служил в военно-морском суде в Севастополе и Владивостоке. Его повести и рассказы, напечатал в «Журнале для всех», «Вестнике Европы», «Русском Богатыре», «Ниве» и др., собраны в 6 томах. Излюбленная тема рассказов Лазаревского — интимная жизнь учащейся девушки и неудовлетворенность женской души вообще. На малорусском языке Лазаревским написаны повесть «Святой Город» (1902) и рассказы: «Земляки» (1905), «Ульяна» (1906), «Початок Жития» (1912).

- Б. А. Лазаревский
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12
  - ○ 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27

Б. А. Лазаревский
А. П. Чехов

В сокращении

[…] С пятнадцати лет я мечтал познакомиться с А.П., но увидеть его и говорить с ним мне пришлось только в сентябре 1899 года.

Чехов уже переехал в Ялту и жил на своей еще недостроенной даче. Я только что поступил на службу в один из крымских городов и бывал в Ялте довольно часто.

Все слышанное от Чехова я записывал в тот же день в дневник и так делал после каждой встречи.

В 1899 году вышла первая книжка моих рассказов. Местная газета их беспощадно высмеяла. Я решил спросить мнения Чехова, написал ему письмо и послал мою книжку, а через несколько дней отправился к нему сам.

Я ждал сухого приема и наставительного тона большого писателя и поэтому волновался. Но услышал я от человека, который видел меня в первый раз, совсем другое[1].

— Послушайте, ну как же можно было так убиваться из-за того, что в газете кто-то там написал эту статейку? Мало ли какой чепухи о нас не пишут…

Слова «о нас» прозвучали в моих ушах особенно сладко, и я понял, что со стороны Чехова они прежде всего акт его доброты.

— Нет, это пустяки, — продолжал А.П., - и обращать на них внимания не стоит. Худо, если о книге совсем не пишут. А вы разве не на железной дороге служите? — вдруг спросил он.

Вопрос этот был задан потому, что большинство моих рассказов касалось жизни железнодорожных машинистов.

— Теперь нет, — ответил я и объяснил, где служу.

— Гм… Ваши рассказы, как рассказы… Послушайте, вы сделали громадную ошибку, что издались в провинции. Этак нельзя. Останетесь незамеченным. Издавать нужно непременно в столице. И для рецензий нельзя посылать так, зря. Ведь вы знаете, как в редакциях? Придет какая-нибудь барышня, заведующая объявлениями, увидит, что получена новая книжка, и возьмет ее почитать… Вот вам и рецензия! Вы пошлите в «Жизнь», к Поссе. А зимой обождите посылать до тех пор, пока я не буду в Москве… Вы уроженец какой губернии?

— Я родился в Полтаве.

— Это слышно. Я тоже южанин. Только я вырос возле моря, хоть и возле паршивенького, но моря…

Боясь помешать Чехову, я спросил:

— Может быть, вы, Антон Павлович, собираетесь в город?

— Да, да. Сейчас пойду. У нас сегодня обед, на котором будет Максимов. Выйдем вместе…

Чехов стал собираться, а я ходил по комнате и глядел на него. Уже и тогда приходилось читать в газетах, что он болен, но заметно этого не было. Его слегка загорелое лицо не казалось изможденным, а движения были сильны и уверенны. Внимательные глаза не смотрели грустно. Слушая его голос, можно было заключить, что он обладает великолепным певучим басом. За все это время Чехов кашлянул всего один раз, — как будто у него запершило в горле. Сравнительно со всей его стройной фигурой, только ноги были несколько худы в коленях.

Антон Павлович надел летнее пальто, мягкую шляпу, взял в руки зонтик, и показался мне таким изящным. Мы вышли и стали спускаться вдоль грязных татарских домиков. По небу ходили тучи, а далекое море казалось серым. Темными пятнами выступили на нем броненосцы пришедшей в этот день в Ялту эскадры. Хорошо дышалось влажным, чуть пропитанным хвоей кипарисов, воздухом. Внизу раскинулся город.

Я сказал, что вся Ялта мне представляется великолепным, но сильно подгнившим цветком магнолии и что, вероятно, люди здесь живут только богатые и счастливые, но бессердечные и развратные. Чехов поднял голову и, посмотрев на меня, вдруг быстро и отрывисто заговорил:

— Что вы, что вы?.. Как можно… Здесь очень много несчастных, много больных… Большинству здесь живется очень тяжело.

— Но вы все-таки один из счастливейших.

— Почему вы так думаете?

— У вас есть средства, есть имя…

— Какие же у меня средства? Кроме бездоходной дачи, — ничего. И где же мое счастье? Я не могу даже жить там, где хочу, и только благодаря своему здоровью должен сидеть в Ялте. Вы Ялты не знаете…

— Да, не знаю, — согласился я.

— Вот то-то же и есть.

Я замолчал и подумал, что Чехов все понимает, а я от радости, что вижу его, говорю, не взвесив предварительно своих слов.

Во второй раз я был у Чехова в ноябре. А.П. был очень

озабочен устройством в Ялте санатории для легочных больных и готовил целый ряд писем к разным людям по этому поводу[2].

Запечатав один из конвертов, Чехов спросил о том, что я теперь пишу, и, внимательно выслушав, заговорил.

— Так. Только вот что… Избегайте вы всяких терминов, особенно скоропроходящих. Некоторые слова через пять-шесть лет совсем уничтожаются и потом звучат в рассказе или в пьесе ужасно дико. Вы знаете, не так давно, в Воронеже, я смотрел свой водевиль «Медведь» и от слова «турнюр» пришел в ужас. Теперь это слово уже не существует, и в новом издании я его вычеркнул[3].

Мы помолчали. Затем я рассказал Антону Павловичу о сильном впечатлении, которое произвела на меня только что вышедшая тогда книга Мельшина «В мире отверженных»[4]. Мне казалось, что все произведение выиграло бы от большего беспристрастия автора в изображении всякого рода тюремщиков, потому что поступки говорят сами за себя сильнее, чем комментарии к ним.

— Что же делать? Ведь нельзя, в самом деле, требовать от человека, который пробыл столько лет в каторге, хладнокровной оценки своих мучителей…

— Да, это трудно…

В тот же день вечером я зашел к Чехову попрощаться. Антон Павлович ходил по кабинету взад и вперед и, увидев меня, сказал взволнованным голосом:

— Знаете, скверная новость…

— А что такое?

— Последние известия, что Толстому хуже. Умрет, должно быть. Ведь этакий он колосс в искусстве! Знаете, есть люди, которые боятся делать гадости только потому, что жив еще Толстой. Да, да, да…[5]

Потом Чехов снова стал жаловаться на гнетущую тоску, которую на него нагоняет Ялта. Помолчав, он спросил:

— Вам нравятся рассказы Горького?

— Да. Особенно «Старуха Изергиль».

— Он не только писатель, а еще и поэт. Большой поэт… и какой хороший человек, а между тем многие этого не понимают… — добавил Антон Павлович и прошелся взад и вперед.

Я облокотился на его письменный стол, на котором лежала какая-то рукопись.

— Меня интересует, много ли вы перечеркиваете, когда пишете. Можно посмотреть? — спросил я.

— Можно.

Я подошел к столу с другого конца. Обыкновенный лист писчей бумаги был унизан ровными, мелкими, широко стоящими одна от другой строчками. Слов десять было зачеркнуто очень твердыми, правильными линиями, так что под ними уже ничего нельзя было прочесть. Мне бросилась в глаза фраза: «Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке…»[6]

Чехов сказал, что готовит этот рассказ для журнала «Жизнь», а потом улыбнулся и добавил:

— А рассказ-то совсем не в духе марксистов. Пожалуй, и не напечатают.

— Ну, ваше-то все напечатают…

Не помню по какому поводу, мы заговорили о процессе Дрейфуса. Чехов надолго задумался и наконец проговорил глухим баском:

— Знаете, вот у Гоголя кто-то выражается: «Это все француз гадит». Так вот и евреи гадят в деле Дрейфуса. Евреи здесь ни при чем. Если бы дело это было не правое, то такой человек, как Зола, не вступился бы. Я как раз в это время был во Франции, — там вся интеллигенция была на его стороне[7].

Мне хотелось бы еще и еще сидеть у Чехова и слушать его полные беспристрастия и правды слова. Но я знал, что ему вредно много говорить и что он ложится рано спать, а потому пожелал всего хорошего.

Чехов всегда настаивал на необходимости для молодого писателя работать как можно больше и однажды сказал мне:

— Печатать можно и немного, но писать следует как можно больше. К тридцати годам обязательно нужно определиться: все определялись к этому времени. Исключение составляет Сервантес… Да и невозможно было ему раньше писать, а потом тоже очень трудно, — в тюрьме бумаги не давали[8]. Знаете, как нужно писать, чтобы вышла хорошая повесть? В ней не должно быть ничего лишнего. Вот как на военном корабле на палубе: там нет ничего лишнего, — так следует делать и в рассказе…

В апреле 1900 года в наш город приехал Московский Художественный театр. Для глубокой провинции это было огромным событием. Я отправился к зданию театра с целью во что бы то ни стало достать для себя и для жены билеты хоть на «Чайку», которая была анонсирована на 13-е число. С трудом, но места были куплены, и я довольный вышел из кассы. Смотрю, на лавочке, у самого входа в театр, сидит Антон Павлович. Мы поздоровались. Чехов спросил, отчего я так плохо выгляжу. Я ответил, что устал и что у меня было сильное разлитие желчи.

— Вы на «Дяде Ване» были? — спросил он.

— Нет. Нельзя было достать билета, но на «Чайку» идем.

— Что «Чайка»! Нужно непременно, чтобы вы пошли на «Одиноких» Гауптмана, — вот это пьеса! Как бы это сделать?.. Вы Немировича не видали?

— Нет.

— Ну, пойдем, поищем его.

— Вон, в цилиндре ходит. Это он? — спросил я.

— Он самый.

Чехов нас познакомил и сейчас же обратился к Немировичу:

— Вот что: есть у тебя два билета на «Одиноких»?

— Для тебя лично? — недоверчиво спросил Немирович.

— Для меня лично.

— Посмотрю.

Немирович ушел и скоро вернулся с билетами.

— Ну, вот вам — непременно пойдите! — сказал Антон Павлович, передавая мне билеты.

Я не знал, как и благодарить его. Денег у меня уже не было, и купить их сам я не мог бы. Мы прошлись по аллее, возле гостиницы Киста. Я спросил Чехова, что он думает об одном из моих рассказов. Он похвалил.

— Чудесный рассказ, отличный рассказ…

Каждый пишущий знает, как болезненно относится автор к мнению дорогих людей. В голосе Антона Павловича мне послышалось желание не по заслугам приласкать меня своим отзывом. Я помолчал и сказал:

— Знаете, в вашем «Острове Сахалине» описан один ссыльнокаторжный, бывший персидский принц, который клеит «неуклюжие» конверты. Дальше вы пишете, что поглядели на его работу и сказали: «Очень хорошо», чем доставили ему большое удовольствие. Вот так и со мной…[9]

Чехов нахмурился.

— Видите ли, то был ссыльнокаторжный и нуждался в ласковом слове, а вы ведь свободный человек…

Антон Павлович сейчас же улыбнулся. Улыбнулся и я от сознания, сколько чуткости и доброты живет в этом человеке.

Вечером мы с женой были на «Одиноких». Впечатление получилось огромное, потрясающее. В антрактах я был или возле Чехова за кулисами, или прислушивался в вестибюле к тому, что говорила публика. Два господина хвалили постановку и негодовали по поводу репертуара: «Дядя Ваня», «Одинокие», «Эдда Габлер» и «Чайка»…

Один из них, с красной, самодовольной физиономией, размахивал руками и вопил:

— Помилуйте, помилуйте, что это я вас спрашиваю? Чем это

они нас угощают? Черта ли мне в этой самой декадентщине?

— Я тоже ничего не понимаю. Какая-то чепуха, — ленивым, низким тенором ответил другой.

Я не выдержал и вступил с ними в легкий спор, говоря, что во всех этих пьесах отразились более тонкие чувства новых людей. Увидев потом Чехова, я попросил его объяснить, почему сравнительно образованные господа не реагируют на содержание таких действительно художественных произведений.

— Потому что они еще живут в сороковых годах прошлого столетия… — ответил Антон Павлович и потом с укором добавил: — А вы зачем с ними об этих вещах разговариваете?..

«Чайка» прошла с ошеломляющим успехом. Чехов сидел в последнем ряду партера, ноздри его чуть расширялись, и видно было, что он сильно волнуется.

Автора вызывали бесконечное число раз. Наконец он появился на сцене, беспомощный, удивительно скромный, и кланялся немножко боком.

И публика, умевшая до сих пор волноваться лишь за картами, застонала от восторга. Это был необыкновенный день для умственной жизни тогдашнего Севастополя.

В июне я провел в Ялте несколько чудных дней. Трудно их забыть. Как-то вечером я сидел в столовой Чеховых. Чувствовалось искренно, просто и хорошо. Заговорили об «Эдде Габлер». Я сказал, что понимаю всякую месть со стороны женщины, оскорбленной в своих чувствах, — можно убить, можно облить серной кислотой, но сжечь неизданную рукопись, над которой столько работал любимый человек, — как сделала героиня пьесы, — это уж не совсем естественная подлость.

— А иметь рукопись большого, серьезного сочинения только в одном экземпляре разве естественно? — спросил Антон Павлович.

— Да, конечно. Очевидно, Ибсен не принял во внимание, что такие рукописи редко бывают в одном экземпляре…

Затем разговор стал общим. Говорили об отдельных актерах Художественного театра и об их талантах. После чая Чехов ушел вместе со мною в кабинет. В этот день он много говорил и казался бодрым. Я ловил, а потом, вечером, записал каждое его слово.

— Теперь к писателю предъявляются огромные требования, и выбраться из рядовых очень трудно. Мопассан взял мировую славу и известность в области короткого рассказа. Публике все остальное кажется уже повторением и слабым повторением…

Вспомнили о Гаршине.

— Гаршин… Что же Гаршин? — сказал Антон Павлович. —

Большим талантом его назвать нельзя. «Четыре дня» и «Записки рядового Иванова» — это вещи хорошие, а все остальное наивно.

— А «Художники»? — спросил я.

— По-моему, очень наивная вещь… Гаршин был чудесный человек и писал в очень выгодное для беллетриста время, — после войны. Книги всегда имеют огромный сбыт и читаются особенно охотно после окончания больших народных бедствий.

Не помню, по какому поводу, разговор перешел на тему о браке.

— Счастливы или несчастливы данные муж и жена — этого сказать никто не может. Это тайна, которую знают трое: бог, он и она… — произнес, прищурившись, Чехов.

Позднее мы вдвоем отправились в город. По дороге я сознался, как гнетет меня невозможность издаться так и там, где хотелось бы.

— Обождите, обождите! Нужно прежде всего, чтобы вас узнали все свои, — пишущие. Года три обождите…

В следующий раз я совершенно случайно встретился с Чеховым на пароходе, шедшем в Ялту. […]

После обеда мы подошли к борту. Чехов стал расспрашивать меня, как я распределяю свой день и пью ли водку.

— Берегите, берегите здоровье и не пейте каждый день водки. Ничто не тормозит так работы писателя, как водка, а вы только начинаете…

— Да я и не пью водки. Меня заедает другое — это вечный самоанализ. Благодаря ему бывали отравлены лучшие моменты…

— Отучайтесь от этого, отучайтесь. Это ужасная вещь.

На берегу мы простились.

Дня через два я поехал к Чехову. Он сидел в нише, на своем любимом диване, и показался мне совсем другим человеком, чем на пароходе: желтый, серьезный, как будто сильно тоскующий. Он рассказал мне подробности о смерти скончавшегося 14 августа 1901 года в Ялте писателя Г.А.Мачтета, а потом стал меня расспрашивать о дуэли между лейтенантом Р. и мичманом И., которого знал еще мальчиком. Эта тяжелая драма не только интересовала его, но и мучила[10].

Видя, что Антон Павлович нервничает, и боясь утомить его, я посидел у него всего минут двадцать.

3-го сентября, по просьбе Чехова, я был у него очень рано, — в 7 часов утра. Я прошел прямо в столовую и увидел здесь Антона Павловича и Евгению Яковлевну, его мать. И по тону голоса и по движениям Чехова было видно, что он чувствует себя лучше. Он много шутил и рассказывал о ялтинских нравах. Перешли к литературным темам. Чехов заговорил о Тургеневе и

Достоевском. Было слышно, что сочинения Достоевского производят на него тяжелое впечатление. Имя же Тургенева и заглавия его произведений он произносил другим голосом и с задумчивым выражением на лице.

— Однажды Достоевский сделал гадость, почти преступление, и сейчас же пошел к Тургеневу и подробно рассказал ему об этой гадости, с единственной целью причинить боль[11]. Ну зачем такие выходки? — с грустью проговорил Антон Павлович.

— Мне кажется, Достоевский был нервнобольной человек, а иногда просто психически ненормальный. Ведь сколько он пережил… — сказал я.

— Да, его жизнь была ужасна… Талант он несомненно очень большой, но иногда у него недоставало чутья. Ах, как он испортил «Карамазовых» этими речами прокурора и защитника, — это совсем, совсем лишнее. […]

Насколько я успел заметить, у Чехова не было «богов» в литературном мире. Анализируя всякую человеческую личность, он всегда делал спокойный, замечательно правдивый вывод. Вот это, дескать, его хорошие черты, а вот это — дурные. […]

Я уверен, что если бы, например, и Л.Н.Толстой сделал худой поступок, то Чехов бы сказал: «Да, это дурно». И если бы последний негодяй сделал хорошее, то Чехов сказал бы: «Да, он поступил хорошо». […]

15-го сентября 1901 года я снова видел Чехова в Севастополе. Он ехал в Москву и остановился у своего знакомого, г. Ш[апошникова]. Как и всегда, перед поездкой в Москву он был очень весел. Говорили о новой газете. Антон Павлович, между прочим, сказал:

— Издавать хорошую газету в провинции может только тот, у кого есть столько денег, сколько требуется, чтобы поставить перед своим домом электрический дуговой фонарь… Иначе говоря, есть деньги, можно издавать газету, а нет — и говорить не о чем, — это будет уже не газета, а вырезки…

Когда заговорили о таланте Мопассана, Чехов сказал:

— Таланту подражать нельзя, потому что каждый настоящий талант есть нечто совершенно своеобразное. Золота искусственным путем не сделаешь. Поэтому никто и никогда не мог подражать Мопассану. Как бы об этом ни говорили, будет то, да не то…

— Как же все-таки формулировать талант? — спросил я.

— А никак. Талант есть талант и больше ничего. […]

Мы снова вышли на платформу.

— Как я завидую тому, что вы едете в Москву! — вырвалось у

меня.

— Да, вам непременно нужно побывать в Москве, и не только побывать, а пожить, — сказал Чехов.

— Мария Павловна когда уезжала, то шутила, что Москва, вероятно, представляется мне так же, как и Ферапонту в «Трех сестрах». Помните: «Подрядчик сказывал, будто поперек всей Москвы канат протянут…»

Чехов засмеялся.

— Да, да. Вам непременно нужно пожить там. […]

Как-то в ноябре 1901 года Чехов был в отличном расположении духа. Говорилось хорошо, мешал только постоянно звонивший телефон. Я вспоминал темы его прошлых рассказов, иногда цитируя их, и между прочим спросил:

— Скажите, пожалуйста, когда вам приходится описывать чьи-либо сновидения, чем вы руководствуетесь, своими ли собственными снами или вероятностью того, что такому-то субъекту может присниться такой именно сон.

— Никогда и ни в одном рассказе я не описывал снов…

— Позвольте. А в «Учителе словесности», а в «Попрыгунье», а в «Гусеве»?..

— Да, да, да. Я уж и забыл. Вы знаете, что я, например, не помню содержания своего рассказа «Огни»[12].

— Как вы думаете, любой автор-беллетрист в своих суждениях о беллетристике же — публика или компетентное лицо?

— Когда он говорит о своих вещах, то не публика, а когда о чужих, то публика… […]

На следующий день, не помню по какому поводу, мы заговорили о современных женщинах-писательницах.

— Нет уж, — сказал Чехов, — лучше я прочту что-нибудь из физики или по электротехнике, чем женское писание. Вот госпожи такая-то и такая-то пишут, пишут, а когда умрут, ничего от них не останется.

За все мое знакомство я только раз слышал, как он хорошо отозвался о рассказе «Сережка», напечатанном в декабрьской книжке «Журнала для всех» за 1901 год, хотя автором его была женщина[13].

— Вы знаете, — сказал потом Антон Павлович, — как женщины относились к Лермонтову, пока он был жив? Считали его шелопаем и хлыщом… […]

Мы помолчали. Потом у меня вырвался вопрос:

— Скажите, отчего вас считают олимпийцем или нелюдимом, между тем как с вами так легко и так просто говорится?

— Олимпийцем я никогда не был. А нелюдимом меня

считают потому, что я никуда не показываюсь. Показываться же мне мешает болезнь…

Прошел почти год. Я опять сидел в знакомом кабинете. За это время Антон Павлович очень похудел, но дух писателя был бодр. Он только что получил известие о том, что завтра приезжает В.Г.Короленко[14]. Предстоящая встреча его радовала и волновала. Сам он через два дня должен был ехать в любимую Москву. В этот день Чехов был вообще оживленнее обыкновенного. Его лицо приняло мрачный оттенок только, когда он заговорил о приезде одного одесского фельетониста[15], с напоминанием относительно сотрудничества в газете.

— Я чувствовал себя ужасно плохо в этот день… — рассказывал А.П. — У меня сил мало, и желудок совсем не варит. Настойчивость этого господина меня измучила и рассердила. Я принял его чрезвычайно сухо…

В последней фразе прозвучало как будто сожаление. Чехов органически не любил доставлять кому бы то ни было неприятные минуты.

— Но ваше сотрудничество было бы для газеты просто кладом. Кроме того, нельзя сердиться на человека за то, что он плохой психолог…

— Дело не в психологии. Там ведь не мальчики сидят и знают, что по заказу я писать не могу. Ну, да теперь уже с ними кончено…

В нем был оскорблен прежде всего художник, от которого требовали произведения не с целями прочесть и подумать над ним, а с единственной целью увеличить тираж газеты. В этот тяжкий месяц нервы Чехова и без того были окончательно издерганы. Быстро делала свое дело и чахотка.

В январе 1903 года Чехов сидел на диване, перебирая и сортируя письма за минувший год.

— Идет дождь? — спросил он, здороваясь со мною.

— Нет, теперь перестал.

Антон Павлович подошел к окну, постоял и, оглянувшись, произнес:

— Вот в такую бы погоду застрелиться…

Я постарался перевести разговор на другое и рассказал ему новый малороссийский анекдот, после которого он долго хохотал. Мне было приятно, что я развеселил Антона Павловича, и в то же время страшно тех хрипов, которые слышались иногда в его смехе.

Он снова сел на диван и, все еще улыбаясь, продолжал перекладывать письма. Я заметил на столе небольшую брошюрку со стихами.

— Разве вы любите стихи? — спросил я.

— Не часто и некоторые — да, вот, например. Он перевернул несколько страниц в этой книжке и указал рукою на следующие строки:

Шарманка за окном на улице поет…
Мое окно открыто. Вечереет.
Туман с полей мне в комнату плывет,
Весны дыханье ласковое веет.

Не знаю почему, дрожит моя рука,
Не знаю почему, в слезах моя щека.
Вот голову склонил я на руки. Глубоко
Взгрустнулось о тебе. А ты… ты так далеко[16].

— Часто к вам авторы присылают свои книги?

— Часто. Почти каждый день что-нибудь получаешь. Я не люблю лишних книг и сейчас же отправляю их в Таганрог[17].

Я заговорил о том, как нравится мне его литературная техника.

— Вы поняли, что простота и объективизм усиливают впечатление гораздо больше, чем восторги и проклятия. В этом ваша сила. Особенно хороши сравнения, по Тригоринской системе, только иногда они повторяются и еще некоторые ваши любимые слова.

— Например? — спросил Антон Павлович.

— Да, например, силуэт дерева или камня вы часто сравниваете с темной фигурой монаха.

— Где?

— Да вот в «Степи» и в «Черном монахе», в «Красавицах»…

— А из московских гостиниц вы очень любите «Славянский Базар».

— Как так? где?

— В «Чайке», в «Даме с собачкой», в повести «Три года»…

— Это оттого, что я москвич. В «Славянском Базаре» можно было когда-то вкусно позавтракать…

Я спросил Чехова, из действительной ли жизни его рассказ «Перекати-поле». Начинается он так: «Я возвращался со всенощной…»

— Да, из действительной… — ответил Антон Павлович и добавил: — Вот этот мой сожитель по монастырской гостинице оказался потом сыщиком…[18]

— Как это неприятно было, вероятно, вам узнать, — ведь вы так его обласкали…

— Да, но что же делать…

Был уже девятый час, и я стал прощаться.

— Если не уедете, то приходите завтра в три часа.

— Хорошо.

Надев в передней пальто, я все еще не мог отделаться от мысли о сыщике и спросил:

— Зачем же этот сыщик был приставлен к вам? Чтобы выведать ваш образ мыслей?

— А бог их знает… Это что!.. Вот в Ницце возле меня все ходил господин и потом познакомился, элегантный такой, и тоже оказалось…[19]

Антон Павлович горько усмехнулся.

В сентябре 1903 года, на возвратном пути из Москвы, я заехал в Ясную Поляну. Меня очень интересовало, как относится Л.Н.Толстой к творчеству Чехова. Л.Н. с тревогой в голосе расспрашивал о его здоровье, а потом сказал:

— Чехов… Чехов — это Пушкин в прозе[20]. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти отклик на свое личное переживание, такой же отклик каждый может найти и в повестях Чехова. Некоторые вещи положительно замечательны… Вы знаете, я выбрал все его наиболее понравившиеся мне рассказы и переплел их в одну книгу, которую читаю всегда с огромным удовольствием…[21] […]

Из душевных качеств Чехова самым выдающимся было терпение. Пребывание в Ялте часто становилось для него равносильным одиночному заключению. К мукам одиночества присоединились еще боязнь причинить беспокойство своей болезнью нежно любившим его сестре и матери.

Любопытные незнакомцы и незнакомки, не имеющие ничего общего с литературой, наезжали к нему довольно часто. Но и с ними Антон Павлович бывал всегда вежлив. С хмурым лицом подпишет автограф, поклонится как-то немного боком и молчит. И только после ухода гостя вздохнет о том, что к нему пристают с пустяками.

За пять лет знакомства с Чеховым я лично только знаю два случая, когда его терпение, по-видимому, лопнуло: один раз, когда приезжал одесский фельетонист, и другой — когда группа захудалых актеров решила поставить «Три сестры»[22]. В первом случае его волнение выразилось в том, что начались перебои сердца, а во втором — усилилось кровохарканье. Приезду же Горького, Короленко, Бунина, Куприна Антон Павлович всегда был рад. Любил он Гарина-Михайловского и часто вспоминал И.Н.Потапенко.

Как-то я сказал об одном уже немолодом беллетристе:

— Так он давно пишет и дальше одного тома и двух рассказов не пошел, хотя имеет полную возможность работать и издаваться когда ему хочется.

Мне досталось.

— Неправда, он много написал. Отличный писатель, чудесный писатель, и работает он хорошо! — ответил Чехов.

Вторым основным качеством Антона Павловича была жалость ко всему страдающему. Процессы, в которых возможны были судебные ошибки или неправомерное наказание, его мучили и волновали. Как идеальный юрист, Чехов не мог назвать преступлением какой бы то ни было поступок, если он был сделан без умысла принести зло, и мысль, что в жизни это не всегда так бывает, давила его.

Такие вещи, как «Беда», «Злоумышленник» и особенно «Рассказ старшего садовника», мог написать только человек, много, упорно и совершенно самостоятельно думавший над этими вопросами.

Страдания детей нагоняли на Чехова ужас. «Гриша» и «Ванька» — это целые драмы. Перечитывая «Остров Сахалин», я часто думал, что должен был переживать Антон Павлович, когда присутствовал при сцене, описанной им так: «Мальчик Алешка 3–4 лет, которого баба привела за руку, стоит и глядит вниз, в могилу. Он в кофте не по росту, с длинными рукавами и в полинявших синих штанах, на коленях ярко-синие заплаты.

— Алешка, где мать? — спросил мой спутник.

— За-а-копали! — сказал Алешка, засмеялся и махнул рукою на могилу…»[23]

Чехов относился к детям не как к «маленьким дурачкам» и говорил с ними не как с существами, созданными для забавы взрослых, а как с людьми, у которых на все своя оригинальная точка зрения.

Антон Павлович с любовью рассказывал мне об одном мальчике:

— Сидит он за столом, выводит букву за буквой и сопит…

Чехов прошелся взад и вперед по кабинету, посмотрел в окно и добавил:

— И уши у него торчат, — вот так…

Чуждый всякой полемики, он спорил очень мягко. Бывало, только и слышишь его ровный, чуть надтреснутый басок:

— Что вы, что вы, как можно! Полноте…

К сознательному злу Чехов относился с брезгливостью. Чистый душою, он не понимал психологии развратников, и нет в его произведениях ни одного такого типа. Но всякое искреннее,

пылкое чувство он оправдывал. Власич в его рассказе «Соседи» — симпатичен. «Дама с собачкой» внушает к себе глубокое сочувствие.

На умственное убожество Антон Павлович никогда не сердился, а скорее был склонен над ним подтрунить. Однажды я принес Чехову номер «Московских ведомостей» с фельетоном по поводу новой тогда повести Горького «Трое». Статья была озаглавлена «Циничная проповедь бесстыдства». В ней слышалось, что автор больше сердит на личность Горького, чем разбирает психологию его героев[24].

Антон Павлович внимательно прочел фельетон, улыбнулся и покачал головою: дескать, тоже критики… Потом этот фельетон был прочитан еще в обществе нескольких человек, и Чехов говорил, что он и все присутствовавшие искренно хохотали.

Противны Чехову были только люди, будто размеренные циркулем, живущие по расписанию, без всяких вспышек своего личного чувства. Ни в одном из его рассказов нет столько яду, как в знаменитом «Человеке в футляре».

Мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что Чехов ценил людей по силе их любви к ближнему.

Однажды, при мне, он спросил, как поживает один господин, тогда власть имущий.

Последовал ответ, что этот господин сильно пьет, плохо отдает долги и вообще симпатий заслуживает мало.

Чехов поднял голову, остановился (он ходил) и сказал:

— Это не все… Это не так. Вот, вы знаете, в восьмидесятых годах был процесс, и если бы не этот господин, то несколько хороших и ни в чем не повинных людей, может быть, пошли бы на каторгу… Он добрый, а это много, очень много![25]

Антон Павлович обладал исключительной наблюдательностью, — если так можно выразиться, — непроизвольною. Он запоминал характерные черты каждого, кого видел хоть раз. Однажды при мне он изобразил походку и гнусавый голос какого-то субъекта. Присутствовавший здесь гость, знавший этого господина, пришел в восторг от безусловной верности изображения. Чехов высоко ценил способность талантливых актеров проникать не только в душу изображаемого лица, но и передавать и его голос и манеру одеваться так, а не иначе.

Сам необыкновенно одаренный, Антон Павлович чутко реагировал не только на настоящее, но и на будущее русского общества. Он понимал, что подходит время, когда у людей не хватит больше сил жить так, как они жили до сих пор… […]

notes

Примечания

1

Летом 1899 г. вышла первая книга Б.Лазаревского «Забытые люди. Очерки и рассказы» (Одесса, 1899). 26 августа 1899 г. в севастопольской газете «Крымский вестник» появилась анонимная рецензия на эту книгу: «Внешний вид ее весьма недурен, но далеко нельзя сказать того же о ее внутреннем содержании. […] шаблонные темы, скучные герои, еще более шаблонные описания». В тот же день Лазаревский послал Чехову свою книгу, рецензию на нее и первое письмо к нему. Он просил Чехова: «Скажите мне, как добрый и честный человек, права ли редакция „Крымского вестника“ […]. Что делать? Неужели не писать ничего, что иногда так волнует? Думаю, что Вы ответите мне» (ГБЛ). Еще не дождавшись ответа, Лазаревский 4 сентября приехал в Ялту и зашел к Чехову.

2

Вторая встреча с Чеховым произошла 29 ноября 1899 г. Чехов был занят рассылкой воззвания (см. коммент. 2 к восп. Елпатьевского, с. 699).

3

Чехов смотрел свой водевиль «Медведь» 3 февраля 1892 г. в воронежском театре. В изданном в 1897 г. сборнике пьес (СПб., 1897) Чехов в четырех местах снял слово «турнюр».

4

В 1887 г. П.Ф.Якубович (псевдоним — Мельшин) как революционер-народоволец был сослан в Сибирь на каторгу, замененную потом ссылкой. Здесь он написал книгу «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника», вышедшую в 1899 г. (1 том — второе издание, и 2 том). Чехов высоко ценил Мельшина: «…это большой, неоцененный писатель, умный, сильный писатель, хотя, быть может, и не напишет больше того, что уже написал» (письмо к Л.А.Авиловой от 9 марта 1899 г.).

5

21 ноября 1899 г. в Москве тяжело заболел Л.Н.Толстой. В конце месяца его состояние улучшилось, но Чехов не знал об этом. 1 декабря 1899 г. он писал М.П.Чеховой: «Испортился телеграф, нет телеграмм. Не знаю, как здоровье Толстого».

6

Судя по приведенной фразе, это был рассказ «В овраге».

7

См. коммент. 20 к восп. Щепкиной-Куперник, с. 655. Э.Золя, ознакомившийся с делом Дрейфуса по документальным материалам, пришел к убеждению о полной невиновности Дрейфуса и выступил в его защиту, публикуя статьи, связанные с этим делом. Когда же военный суд, состоявшийся 11 января 1898 г., оправдал настоящего виновника Эстергази, Золя написал открытое письмо президенту республики Феликсу Фору, в котором обвинял поименно всех лиц, а также генеральный штаб и военное министерство, подстроивших «дело Дрейфуса», в целом ряде преступных действий. Это письмо, озаглавленное «Я обвиняю», было опубликовано в газете «L'Aurore» 13 января 1898 г.

8

Жизнь испанского писателя Сервантеса (1547–1616) представляла собою цепь жестоких лишений, невзгод и бедствий. С 1571 г., находясь на военной службе, он участвовал в нескольких походах. Четыре раза был ранен и находился в госпитале. При очередном походе был захвачен турками в плен. Увезенный в Алжир, он провел там пять лет в тяжелых условиях. В 1580 г. был выкуплен и освобожден. К этому времени относится начало его литературной деятельности. Для добывания средств к существованию поступил на службу в интендантство. При выполнении служебных обязанностей у Сервантеса, совершенно неприспособленного к счетной работе, было много неприятностей. Он попадал под суд и дважды приговаривался к тюремному заключению.

9

См. «Остров Сахалин», гл. XII (петит).

10

Дело лейтенанта Рощаковского слушалось в Севастопольском Военно-морском суде в мае 1901 г. Рощаковский, плававший в должности ревизора на минном транспорте «Буг», заявил, что у него похищены казенные деньги, которые он хранил в своей каюте. Виновный не был обнаружен. Рощаковский высказал подозрение, что в краже повинен мичман Иловайский. Возмущенный Иловайский ударил его по лицу. Дело кончилось дуэлью, на которой Иловайский был убит. Чехов хорошо знал семью Иловайских, с которыми познакомился в феврале 1892 г. в Воронеже, куда ездил по делам организации помощи голодающим.

11

Возможно, это был психологический поединок: Достоевский сознательно приписал себе дурной поступок, которого не совершал, с единственной целью — позлить Тургенева.

12

Рассказ «Огни» (1888), не перечитав его, Чехов не включил в собрание сочинений.

13

Рассказ написан Диль-Тальх.

14

См. восп. Короленко и коммент. 26 к ним, с. 45 и 640. (OCR Zmiy — см. прим. к стр. 147(«…для разговора об одном общем заявлении»), издания 1960 года.)

15

Вероятно, это было посещение одесского журналиста Лоэнгрина (псевдоним П.Т.Герцо-Виноградского). После смерти Чехова он написал воспоминания о своей единственной встрече с Чеховым, состоявшейся 4 мая 1902 г. (Южное обозрение, 1904, N 7854, 4 июля).

А.М.Федорова[27]. (Примеч. Б.А.Лазаревского.)

17

Все книги с дарственными авторскими надписями посылались Чеховым в Таганрогскую библиотеку. См. описание этих книг в сборнике «Чехов и его среда». Л., 1930, с. 221.

18

Возможно, что у Чехова были неверные сведения о своем сожителе в гостинице. То, что он был сыщиком, опровергают современники.

19

От знакомства с жившим в Ницце Евгением Новицким предостерегал Чехова И.Я.Павловский в письме от ноября 1897 г. (ГБЛ). В первой записной книжке Чехова находим запись от 7 октября 1897 г. «Признание шпиона». 27 апреля 1898 г. записал в своем дневнике А.С.Суворин: «Чехов рассказывал о русском шпионе в Ницце. Он получает 700 рублей» (Дневник А.С.Суворина. М. — Пг., 1923, с. 180).

20

В дневниковой записи Б.А.Лазаревского отзыв Толстого о Чехове дан в другой редакции: «Чехов — это маленький Пушкин». Но в письмах Лазаревского Чехову от 5 сентября 1903 г. и В.С.Миролюбову от 20 октября 1903 г. переданы слова Толстого так же, как и здесь: «Чехов — это Пушкин в прозе». Мы располагаем еще воспоминаниями Вал. Лазурского, в которых приведены следующие слова Толстого: «Талант Чехова я ставлю гораздо выше собственного. Только Чехов создал новый собственный тип письма. Чехов умеет одним словом выразить то, что другие не скажут целыми страницами. Чехов — это Пушкин нашей прозы» (Речь, 1915, N 307, 7 ноября). В дневнике самого Л.Н.Толстого сделана запись 3 сентября 1903 г.: «Разговаривая о Чехове с Лазаревским, уяснил себе, что он, как Пушкин, двинул вперед форму. И это — большая заслуга. Содержания же, как у Пушкина, нет» (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 54. М., 1959, с. 191).

21

Сын Л.Н.Толстого Илья Львович писал Чехову 25 мая 1903 г., что Лев Николаевич отметил и разделил его рассказы на два сорта. К первому сорту отнес рассказы: «Детвора», «Хористка», «Драма», «Дома», «Злоумышленник», «Мальчики», «Темнота», «Спать хочется», «Супруга», «Душечка». Ко второму сорту: «Беззаконие», «Горе», «Ведьма», «Верочка», «На чужбине», «Кухарка женится», «Канитель», «Переполох», «Ну, публика», «Маска», «Женское счастье», «Нервы», «Свадьба», «Беззащитное существо», «Бабы» (Летопись, с. 750). Эти рассказы Чехова выделены Толстым, надо полагать, не по всему собранию сочинений, а только по отдельным томам.

22

22 ноября 1901 г. в Ялте, в исполнении труппы Московского товарищества русских драматических артистов, под управлением И.А.Добровольцева, была поставлена пьеса Чехова «Три сестры». 24 ноября Чехов писал О.Л.Книппер: «Здесь, в Ялте, шли „Три сестры“ — отвратительно! Офицеры были с полицейскими погонами, Маша говорила хриплым голосом. Сбор был полный, но публика ругала пьесу отчаянно».

23

Из XIX главы книги «Остров Сахалин».

24

Статья А.Басаргина (наст. фамилия — Ал. И.Введенский) «Циничная проповедь бесстыдства. „Трое“ М.Горького» — Рассказы, т. 5, в газете «Московские ведомости», 1901, N 358, 29 декабря.

25

О ком шел разговор, не установлено.

26

Печатается по тексту первой публикации: Лазаревский Б. Повести и рассказы, т. 2. М., 1906.

Лазаревский Борис Александрович (1871–1936), писатель. По образованию — юрист. По окончании Киевского университета служил несколько лет секретарем и следователем военно-морского суда в Севастополе. В эти годы (1899–1903) часто бывал в Ялте, где навещал Чехова. Воспоминания Лазаревского интересны тем, что в них воспроизведены дневниковые записи, сделанные им тотчас же после каждой беседы с Чеховым.

27

Из книги А.М.Федорова «Стихотворения» (СПб., 1903), полученной Чеховым от автора.